

Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад.

Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову — звали ее Людочкой. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» И зачем я помню это? За пятнадцать лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло...

Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?

Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего, закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой.

Она росла, как вялая, придорожная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечников, но была молчаливо-старательная и до сплошных двоек не опускалась.

Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за семь верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах, так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, пряли вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки.

Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме — и только. Когда Людочка домаяла десять классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город — устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим — мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом — налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет, — на старости лет, глядишь, и она им поможет.

Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя «мя-а-ах-канькия, пушистенкия, головенка, будто одуванчик, — от химии же волосья ломаться,

сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась — ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении.

Тихая, вроде бы по-деревенски скованная, но по-крестьянски сноровистая, она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы.

Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкоммунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера.

Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров.

— Покуль ты ученицей будешь — живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь. — И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: — Если обрухатеешь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою.

Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала.

Жили у нее, давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашенные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки, без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта: курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет.

И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое, то пирожки с тарелки подьедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят, квартплату, пока десять раз не напомнишь, платить не торопятся. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать, — стали срывать чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью три первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те, первые, Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз на которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренко, разговаривала с ними, с огурчиками-то: «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки! Потом мы вас в окро-о-ошечку-у, в окро-ошечку-у-у» — а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой.

— Вы зачем огурцы съели? — приступила к девкам Гавриловна.

— А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во-о-о какой купим!

— Не надо мне во-о-о какой! Это вам надо во-о-о какой!.. Для утехи. А я берегла огурчики...

— Для себя? Эгоистка вы!

— Кто-кто?

— Эгоистка!

— Ну, а вы б...! — оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела.

С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в Божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. Двоих наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе оттого, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалится — воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их, нынешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется.

Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику — стригла машинкой наголо допризывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригала под раскольников страшных модников из поселка Вэпэвэрзэ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы.

Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбывла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы па икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала «бонбенгом», еще «мамзином». Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой.

— Во-о-от она, наша работушка, а, во-от она, красотуля-то человечья, как достаетца! — поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. — Гляди, радуйся, хоть и бестолкова, но все одно каким-никаким мастером сделаешься... Чё тебя из деревни-то погнало?

Людочка терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую неприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болести Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя

вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножает совсем.

С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэвэрзэ, по-человечески — парк вагонно-паровозного депо, насаженный в тридцатых годах и погубленный в пятидесятых. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.

Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затащило мыльной слизью, тинной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.

Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины — тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду — развесистая полынь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрянув сажен на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло — елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак.

Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли ближней природой был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо

сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда проносило аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испустившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра.

Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрзэ и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно: портреты одни и те же, лозунги одни и те же; потом преобразования начались. Было: «Дело Ленина — Сталина живет и побеждает!» — стало: «Ленинизм живет и побеждает!» Было: «Партия — наш рулевой!» — стало: «Слава советскому народу, народу-победителю!» Результат местной идейной мысли тоже был: «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках» «И в ногах!» — дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде — так важно тут именовалась железная конструкция — не появлялось.

Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынута сразу пять портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг: «Партия — ум, честь и совесть эпохи!» — примолкли даже железнодорожники.

В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода с сорок второго года горят трехметровые буквы: „Наша цель — коммунизм!“?»

Ну, такая учителька долго в поселке Вэпэвэрзэ не продержится, домой ее воротят или еще куда отвезут.

В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, само собой, и «нечистые» велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу — убегла, физкультурница.

Среди вэпэвэрзэшников верховодом был Артемка-мыло, со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка сколь ни пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизия оказались что липкие рожки из вокзальной столовой — сварили их, бросили

скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиеся, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемка-мыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула вэпэврээшного атамана стригущей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной патлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман-мыло всей вэпэврээшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать.

Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк Вэпэврээ в любой час, в любое время года, своей улыбкой отвечая на приветствия, шуточки и свист шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы.

Один раз атаман-мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосьями как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та несуразная особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи. Любофь. А то...»

В загоне-зверинце и люди вели себя по-звериному. Какая-то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала среди площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Чё делат! Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?!» «Нету у него терпежу! — прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парень. — Спали ее, детушко! Принародно лиши невинности!»

Со всех сторон потешался и ржал клопочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла.

Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана-мыло — если нападут, чтоб заступился. Но Мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок туг же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками

дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицей летающую, бьющуюся в решетки особь, может, девку, может, парня — ввечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась: «Х-х-ха-ады-ы! Фашисты-ы! Сиксо-о-оты-ы! Педера-асты-ы!..»

«Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов и педерастов... Се-э-эча-ас...» — торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросало вослед жертве чуть присмирившее стадо.

Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман-мыло выскользнет из тьмы и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении, дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка — не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща-танцора, но он тренированный, видать, не отпускаясь, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виделся. «Ну, чё ты? Чё ты? Давай дружить, кроха!»

Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла:

— Ужас! Ужас!..

— Во-от, будешь знать, как шляться где попало! — запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения.

Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня — не одна же шпана живет на свете, или путного вдовца — есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года — не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женская же молодость и ладность — к жизнеутешению и радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и худобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельный сгодится, и поселит их у себя — на кого ей, бобылке, дом спокидать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то, вон они, совсем ходить перестают.

— А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение; пошоркаются мушшына об женшыну, женшына об мушшыну, разгорячатся и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталась, все мои танцы — в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были...

Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло, — иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии-то, сказывают, вон чего делается — содом, разврат и условия плохие: воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди; захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают...

Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие, — зато, если замуж, Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет.

Недосыпала, правда, Людочка, голову иногда кружило, и кровь носом шла, по она ваткой нос заткнет, полежит на спине — и все в порядке, не цаца какая, чтоб по больницам шляться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови-то вытекает всего ничего.

Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозвищу Стрекач. Более о нем сообщить нечего, Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в вэпэвэрзэшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец-усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порченые зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные.

Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем: в школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шанцевый инструмент вроде резинок, шариковых ручек, значков, особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блестящей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы. Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было — малое население поселка приносило ему, как хану, дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление: в драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — три года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растапывал скарб, рвал постели, мочился в банки с крупой и мукой, если была охота — оправлялся среди избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара!» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записочку ласковую: «Миленький гость! пей, ешь, отдыхай — только, ради Бога, ничего не поджигай».



В благословенных, добычливых местах Стрекач прожиривал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли — и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных.

С тех пор и обретался герой поселка Вэпэвэрзэ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени прибывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск.

Здесьняя шпана гужом тогда ходила за Стрекачом, набиралась ума-разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ошипывал свою команду, то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя.

Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка Вэпэвэрзэ.

В тот летний вечер Стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине-плахе. Рукава красной, со ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки, современные электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях; в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото; нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии — одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, — где-то недавно «занятый», то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали «фрак» из бурьяна и, ошипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом-мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет, изречение: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайко».

Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток-другой и передавал ее услужливым корешкам.

— Ба-бу-бы-ы-ы-ы! Бабу хочу! — тоскливо баловался словами Стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченые зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника, и, сжигаемый неумной страстью, он крошил камень — «аж дым из рота!»

Парни тарацились на такого редкостного человека и успокаивали его:

— Будет тебе баба, будет! Не психуй. Вот массы с танцев повалят, мы тебе цыпушек наимаем. Сколько захочешь... Только вино все не выпивай...

— Ш-шыто вино-о? Ш-шыто гроши? Ш-шыто жизнь? — Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурился, покатав голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он, и понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время.

— А-а, вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет, — встряхнулся Стрекач.

— Это Людка. Ее трогать не надо, — потупился Артемка-мыло.

— А шту, он балной или селка?

— Больной, больной...

— А нам су равна, а нам су равна... хоть балной, хоть какой, нам хоть ишачку... — Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. — Куда спэшишь, дарагая? Подожди, нэ спэши, познакомиться разреши...

Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее.

— Харр-раш-шо-о-о, что сопротивляешься, дарагая! Это дядя любит... От этого дядя звереет. Не вертись! Сядь, фря!

Людочка не садилась.

— Какая я вам фря? Я Люда. Да отпустите вы меня!

— Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем.

— Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой сине блю-удечко, — будто не слыша корешей, пропел Стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. — Ты понимаешь, дя-адя хочет? Дя-адя! Хочет! И чему тебя в школе учили?

— Ничего я... ничего...

— Ты скажи! — хохотнул Стрекач. — Она брезговат!.. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто? — Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. — Пах-хади! Пах-хади! Нэ спэши, дарагая!.. Н-нэ спэши!.. — Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. — Н-не кудахтай, курица! — С треском рванул на ней платье.

Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только: «Усу... усу... ус...». И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей казалось — взвизгнула на весь белый свет.

— Во, любовь! — качнул Артемка-мыло кудлатой головой за скамью. — С песнопением...

Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули:

— Мы поглядим?

— Смотрите. Мне что? — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.

— Да не вертись ты, паскуда! — раздалось из бурьяна. — Ну, куда ты? Куда? Там же ж горячая вода... Ты уймешься? — Стрекач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян.

Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнуло дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось.

Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с «фрака», с нарядной рубашки что-то и испуганно лаялся:

— А-а, кур-р-рва! Облежала, весь фрак вокзальным винегретом завесила. — Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал: — И шшш-ка-ар-ры! Шкары! — Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.

— Не-е, мы наших ждем. С танцев... мы... — залепетали парни.

Стрекач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные.

— Ы-ышшшь-те, фраера! Запачкаться боитесь? — свистел он в дыроватые зубы. — Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет! Не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде? — Стрекач затолкал парней за скамейку, в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил: — И не киксовать!

Людочка слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты, между приступами рвоты чихала и все чего-то искала, искала, собирала рванье на груди.

Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку-атамана, возникшего перед ней. По правде сказать, увидев ее, скомканную, изорванную, Артемка-мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она:

— М-мыло! Мыло! Мыло!.. — Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом, через объединенный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить: — Мыло! Мыло!..

Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание.

Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку — клеенка. Гавриловна — бережливая хозяйка.

— Очнулась? Вот и хорошо. Вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое... Попей, попей и не дрожи, не дрожи-ы, — миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна.

Людочка сперва жадно, с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой.

— Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее износу не знает... И родится баба не под нож, а под совсем другое... Ну сорвали плонбу, подумашь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут, тьфу нонче на эти дела... А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу! Ох, накручу!.. И ты тоже хороша! Скоко я те говорила: не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лахудры да шпанята табунятся! Так нет, не слушаешься старших-то...

— Я к маме хочу.

— К маме? Дак и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующей доложу и уберусь за тебя в парикмахерской-то, ты ж убираешься... Во-он у нас, что в твоей светлице!.. Уберу-усь, хоть нараскоряку, да ползаю ишшо.

В родной деревне Вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то, давно еще, пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем».

Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, с едва натопанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще, деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась?

В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки крупные да румяные налились на нагом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру...» — поддакивали ей.

А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый, плоский сгвол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньке. Еще одной. «Эдак вот, — пророчила Вычуганиха, — одинова середь России кол вобьют, и помянуть ее, нечистой силой изведенную, некому будет...»

Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить.

«Недостойны, поди-ко, — лепетали они, — материмся, выпиваем, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков...». «Все мы — грязные

твари, веры в Него недостойны. Но надо стремитца», — наставляла строгая Вычуганиха.

Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющейся по-нездешнему — «шпроты», на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, — туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и затрещину схлопотала.

Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать-и-мачехи и следом солнечно зацветшей купавой, курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена — корова на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухаля, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Олена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Олену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала.

Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепления и оплота деревеньки Вычуган — самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, посидели, выпили, поговорили, — поди-ко Вычуганиха была последней из рода вычуган, основателей села.

Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу.

— О, Господи! Вон кто у нас пожаловал! Вон кого кот навораживал... — Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала: — Я еще утресь обратила внимание — валятся и валятся на шесток головни — гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут эвон что! Чё притолоку-то подпираешь? Проходи. Чай не в чужой дом явилась.

Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но пронизательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои сорок пять лет, мать с ходу уяснила — с Людочкой стряслась беда: бледная, лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличие. По тому, как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, — ума большого не надо,

чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед-то, напастей, впереди, ох-хо-хо-хо-нюшки...

Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано — терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, — пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить.

— Ты на выходной или как?

— Что? Да-да...

— Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц... Яйца наши не то что ваши, городские, желток у них будто солнушко... А сам меду накачал. — Мать качнула головой, рассмеялась: — Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили... Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу... — Она убрала улыбку с губ, сморщила отекавшее, синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато: — Надумала вот на исходе четвертого-то десятка... тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит... а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем...

Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но скорее всего в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски — если бросит мужик, так меньше плакать.

— Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так...

— Ну так дак так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть сот пять дадут на шифер, на стекла. Да кто даст? Кому он, этот дом, нужен? Деревня эта Божова кому нужна? — По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом среди зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек — накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничий с центральной усадьбы.

— Ох-хо-хо, что-то с нами будет? Кому от этого разора польза? — спросила мать пространство и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненым фартуком. — Ну, я достираю, а ты Олену подои, дров принеси. Сам-то после

смены на доме колотится, поздно приедет, голодехонький работник. — В голосе матери проскользнуло что-то даже похожее на ласку. — Похлебку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана — от помочи осталось маленько, может, и выпьете с устатку...

— Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо... — напевно начала мать, думая о чем-то своем. — Чё же ты стричь-то? — спохватилась она. — Да ладно. Научишься когда-нито. Не боги, как говорится, горшки обжигают, — все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. — А что пить не научилась — ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и возвращенье. Это она нашу деревню надсаженную доконала, пагуба эта. — И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже, добавила: — Так, видно, Богу было угодно...

— Все теперь о Боге вспомнили! Все с упованьем, с жалобами к нему, как в сельсовет... — начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены — мать не слушала и не слышала ее.

И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжают там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому.

Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку.

Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчине — как он трудно, однако азартно вращал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощь друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком — воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо, имал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали стог, управлялись наверху, отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему.

Дометывали они последний стог на берегу реки вдвоем — мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать стог и, как умели, обвязали его верх сплетенными прутьями — от ветра, — отчим махнул рукой на обмысок: «Ступай туда, а я очешу стог».

Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сенную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям, хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и

неполадок в погоде, наметавшим добротного, едового сена. Корм корове — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму.

Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.

Мужик с бритой, седеющей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека, — Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло или настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.

Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой, она в уединенности своей ого-го-го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»

Людочка упяtilась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.

— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранным доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо... — Спohватившись, мать построжела и, словно кому-то доказывая, продолжала: — Но человек он порядочный, может, и добрый.

С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет...

— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?

Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:



— Ну что ж... коли надо, дак...

— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна. — Что у родителей-то, тесно?

— Они к переезду готовятся.

— К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь... Чем родители порадовали?

— Да вот. — Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревки на всю деревню понаделали. Крепких. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю... А ты все реवेशь... Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты испугу заляешься пуще того...»

— Чего плачешь-то?

— Маму жалко.

— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому... — Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: — Ты вот чё, девонька... хым... хым... стало быть. Артему — банное мыло-то забрали... Исцарапала ты его шибко... примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое... от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят...

Долго и тягостно молчали в доме Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.

— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым — вшей обирать... Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла... Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели...

— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.

— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет... утомляцца он на воле быстро... Он засядет, а я тебя и созову обратно... — Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: — Господи! Да отчего же это добрым людям покоя-счастья нету? Зачем оне вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..

Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школадесятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, она не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.

Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.

Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру.

Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за два года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, этокое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» — и брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирей и чирей. Лезут со всякими пусяками!» — последовало заключение.

Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там в непригодном для сложных операций месте вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно — от гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть.

Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты, по просьбе больных, переместили в коридор, за печку.

Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук «псих, псих, псих...», будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом.

Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческого, она приложила ладонь к лицу парня — голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл

плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие — различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «усу... усу... усу...».

Издравле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали: мол, недолголюбив, недоработав и недочитав последнюю строку, иль недокурив последнюю папироску, или что-то в этом роде — уходили парни в бой, а тут вот — на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и. деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к «рано ушедшим на кровавый бой».

Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных-то у него нету...

Людочка принесла что-то похожее на табуретку, с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудились выучить ни одной молитвы, так, с пятого на десятое что-то похватила от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих: «Боже праведный! Боже преславный... Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные... огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли...»

Парень слабо шевельнул пальцами — он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца»: «Отговорила роща золотая... любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе... И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил... а еще скажи слово прощальное: передай кольцо обручальное... чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить...»

Чего Людочка только ни говорила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти.

Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала.

Встряхнулась она от слабого стоны, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце и подумала: может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе — не для

того он плачет, чтоб было облегчение, плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас вот, умирая на больничной койке, за облупившейся, грязной печкой, — совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему.

Отчего так суетно милостивы, льстиво сочувствующие люди возле покидающего мир человека? Да оттого, что они-то, живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого, точнее они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаянием, выражающим горе, не скрыться им от самого пронизательного взора — взора умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной.

Предают его живые! И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыханье, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему.

Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся — он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделали бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению.

Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да-а, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином...

Рука парня свесилась с кровати, рот, жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно, медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья.

Людочка, ровно бы уличенная в нехорошем, тайном поступке, постояла, одернула халатик и крадучись пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила: «Отмучился, горюн»; как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрац и койку...

С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия — пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда, зачем?

Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Ну даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам.

О-о, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание...

Да хотя бы те же барыньки-декабристки.

Но по делу если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку или обиду глаза друг дружке выцарапывают, мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что...

Людочка неожиданно подумала об отчине: вот он небось из таких, из сильных? Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время, их, деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни молодецки-весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего...

Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб «саранопалы» не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать Стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку.

— Вы чего?

— Да ничего! Насчет картошки дров поджарить соображаем.

— Ишь какие! Разохотились!

— А чё? Теперь все равно, плонба сорвана, как Гавриловна баёт, мышеловка наготове, знай имай мыша... — выпившие молодцы эпэвэрзэшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство Стрекача под самый корень! «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», — вспомнила она хохму из чьего-то школьного сочинения.

О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла, хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула: мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский тебе это стройотряд, не бардак под названием «десант на колесах», пусть, мол, «мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам Его страдальческим будут они, богохулки».

— Жаль, нету вашего вождя — такой видный кавалер!.. Жаль! — повторила она вслух и погромче сказала в темноту: — А ну отвалите, мальчики! Хватит! Одно платье порвали! Плащик спортили! Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь.

— Дуй! Да смотри: любовь и измена — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

— Ишь ты, грамотный какой! Отличник небось?

— Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача, испытаешь мои способности, похвалишь.

— А ты мои.

Людочка и переделалась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврикe возле дивана, придвинула было листик бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку, нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне: «Пока!» — вышла на улицу. У крыльца надернула старые калоши, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоего пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль да тут же и другая мысль перебила первую: там, в лесу-то, стрекач на стрекаче, и все с усами.

В парке она отыскала давно уж ею замеченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец — все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое: варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и скутать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла — в ее деревне лет уж десять лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, не научилась материться...

Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы.

Людочка взобралась на клык торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный... Ну не достойна же... — и перескочила на тех, кто ближе: — Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите! И ты Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли Ты?.. Если есть, прости, все равно я значок комсомольский потеряла, никто и не спрашивал про значок. Никто и ни про что не спрашивал — никому до меня нет дела...»

Она была, как и все замкнутые люди, решительна в себе, способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный.

Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь — такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло, давай свертываться, стихать, уменьшаться и, когда сделалось всего с орешек величиной, покатилося, покатилося вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту.

И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа?

— Ну, чё она, сучка, туптит, динаму крутит, что ли? Я ей за эти штучки...

Один из парней, томившийся в парке Вэпэвэрзэ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами рядку тополей.

— Когти рвем! Ко-огти! Она... — разведчик мчался прыжками от тополей, от света.

Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык во-о-о какой вывалился, и с ног что-то капало.

— Ну дает! — ахали кореша. — Ну сделала козла... О-ох, падла! Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться... я бы показал...

— Это ж надо! В петлю! Из-за чего!

— Надо Стрекача предупредить. Грозился же...

— Ага, обязательно. Когтистый зверь, задерет. По последней, братва, по последней. Вы-ы-ыпьем, бра-ат-цы-ы, удалую за поми-и-ин ее души-ы-ы.

— Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали...

— Э-эх, идиотина! Жить так замечательно в на-ашей юной, чудесной стране-э...

Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились, там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет — чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить.

На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями — шел дождь, она береглась, но забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносило вой ночного зверя или потайной, лешачьей птицы выпь: «Уу-у-удочка-а-а-а...»



Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались, и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки.

После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка и завопила: «У-у-удоч-ка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку.

— За дочку, за дочку держала, — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. — Все пополам, кажну крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать... Да голубонька ты моя сизокрылая... Да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..

Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая.

Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» — и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила она.

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю», — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязанным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпэвэрзэ и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубаше, с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязанным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

— Чё те, мужик?

— Поглядеть вот на тебя пришел.

— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

— Так, значит, ты и есть пахан Стрекач?

— Допустим! Штаны спустим...

— Ишь ты! Еще и поэт! Прибаутчик! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте!

— Ты... ты... Фраер!.. Да я те... Я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вождедением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.

— Э-э, да ты еще и ножиком балуешься! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами — не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов.